



Лит. Россия. — 1992. — 16 окт.
(N 42). — С. 10-11.

ИЗ ЧРЕВА ЛУБЯНКИ

СУДЬБУ русской литературы послеоктябрьского периода можно во многом уподобить трагической участи крестьянства: первоначальный революционный энтузиазм и пылкие надежды на воскрешение исконной Руси во главе с большевиками вскоре сменяются зловещими предчувствиями, а затем и горьким прозрением. Теряя своих лучших сынов, русская литература сопротивлялась вхождению в колхоз тотального соцреализма, так же как и крестьянство тщетно пыталось избежать насильственной коллективизации. Но в обоих случаях силы были слишком неравными, и великие драмы на десятилетия скрылись во мраке искусственного забвения.

Немудрено, что в идеологически канонизированной истории советской литературы это умолчание прежде всего коснулось крестьянских поэтов есенинского круга: Клюева, Клычкова, Орешина, Ганина, Приблудного, о творчестве которых до недавнего времени читатель имел самое смутное представление. Впрочем, что говорить об окружении Есенина, если и его собственный сложный путь долгие годы трактовался в соответствии с унылыми, раз навсегда, казалось, установленными формулами, более затемняющими, нежели проясняющими противоречия поэта: «Когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, Есенин приветствовал ее...»; «Но, приветствуя новую, советскую жизнь, Есенин в то же время сожалел о старой, уходящей в прошлое деревенской Руси... Все это внесло разлад в сознание поэта. Он не смог противостоять чуждым влияниям...» и т. д. и т. п.

Штампы политической цензуры оказались настолько устойчивы, что биографии крестьянских писателей продолжали ретушироваться, а обстоятельства их гибели — замалчиваться даже при наступлении гласности. Эта жеманная недосказанность была, однако, вполне объяснима, ибо в тогдашнюю перестроенную концепцию светлого облика «социализма с человеческим лицом» кровавая расправа с носителями русской культуры никак не вписывалась.

Но независимо от любых концепций, застою и перестрою все эти семьдесят с лишним лет существовала и другая история русской литературы, скрытая от постороннего глаза. Ее не сочиняли в солидной тиши кабинетов, ее авторами не стали лукавые летописцы, умевшие вовремя остановить плавный бег своих «паркеров» или опутать изящными вензелями недомолвок и лжи трагические вопросы века. Подлинная хроника социалистической эры создавалась полуграмотными палачами-чекистами, чьи корявые перья творили на тюремных бумагах документы новой эпохи: анкеты, протоколы, акты, приговоры.

Обществу должно было разомкнуть еще одни ворота и сорвать еще одну печать, чтобы адские скрижали истории, упрятанные в чреве Лубянки, открыли свои тайны.

В ТЕКУЩЕМ году журнал «Наш современник» приступил к публикации «документов из уголовных дел 20 — 30-х годов ЧК — ОГПУ — НКВД, заведенных в свое время на людей, чье имя так или иначе было связано с судьбой Есенина». Трудно переоценить огромную исследовательскую работу, проделанную в архивах бывшего КГБ Ст. Куняевым, С. Волковым и другими литературоведами. Их усилиями воссоздана объемная картина русского сопротивления, что позволяет перебраться мост от истоков борьбы с антинародной властью начала 20-х годов к нашему времени.

Серия публикаций (она будет продолжена и в будущем году) открывается материалами о «деле» поэта Алексея Ганина и его единомышленников («Расстрелянные тени», «НС», № 1). Это так называемое «Дело центра», начатое 13 ноября 1924 года, завершилось расстрелом Ганина и осуждением на смерть и Соловки еще тринадцати человек — «не партийных функционеров, не эсеров, не широко известных писателей», по словам Ст. Куняева, «а никому не ве-

домых маленьких людей эпохи, вчерашних крестьян, начинающих поэтов, мелких служащих, объединенных одной идеей — борьбой с интернационально-коммунистическим режимом во имя спасения национальной России. Как в наши демократические времена, так и в ту тоталитарную эпоху такое мировоззрение называлось «фашистским», группа Ганина получила название «орден русских фашистов», Ганин был объявлен главой ордена, и после подобных ярлыков участь подсудимых была решена».

Немаловажной, если не основной причиной вынесения жестокого приговора стала работа Алексея Ганина «Мир и свободный труд — народам», извлеченная ныне из чекистских архивов. Достаточно привести лишь несколько цитат, чтобы понять, какую опасность для большевизма таили в себе эти 19 страниц, на которых сосредоточился всесторонний анализ действительности, превратившись он в идейную программу сильной национальной партии:

«...если не предпринять какие-то меры, то России как государству грозит окончательная смерть, а русскому народу неслыханная нищета, экономическое рабство и вырождение»;

«...в лице ныне господствующей в России РКП мы имеем не столько политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-человеконенавистников, напоминающую если не по форме своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников»;

«...воспользовавшись временной усталостью народа, эта секта, пробравшись в самое сердце России, овладев одной шестой частью суши Земного шара и захватив в свои руки колоссальные богатства России, еще с большей энергией и с большим нахальством проповедует свои гибельные теории, прикрываясь маской защитников угнетенных классов и наций».

На основании глубокого осмысления постигшей Россию трагедии Алексей Ганин предлагал и конкретные методы борьбы с РКП и «ее международным органом, III Интернационалом»: повседневные систематические разоблачения, выдвижение новых принципов государственности и личных прав человека, признание права собственности как «единственной гарантии роста культурных и экономических благ», пропаганда государственно-национальных идей и, наконец, объединение разрозненных сил сопротивления «в одну крепкую целую партию».

ПРОДОЛЖАЯ тему, журнал публикует и протокол допроса Ганина («Пасынок России», «НС», № 4), произведенного в Московской ЧК 17 ноября 1924 года. «Как тут не вспом-

нить, — пишет Ст. Куняев, — о деятельности русских патриотов 60 — 70-х годов Игоря Гурцова, Леонида Бородина, Владимира Осипова и созданного ими ВСХСОНА. В сущности, Алексей Ганин и его товарищи были, несомненно, прямыми предшественниками жертвенного поколения патриотов-шестидесятников», — которых, добавим, демократическая печать предпочитает замалчивать.

Бесправие, шаткость существования русского человека при антирусской власти и в 20-е, и в 60-е, и в 90-е годы в полной мере выражают слова Сергея Есенина: «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть».

Яркие, талантливые, честные люди — и п а с ы н к и? Ведь можно было, наверное, проявить лояльность (пусть только на словах) к новой власти, можно

было не замечать хаоса, нищеты и разбоя вокруг, принять, наконец, условия игры — и играть, играть самозабвенно в литературу, творчество, искусство, сторонясь революционного пафоса и в то же время его принимая... Ну, хотя бы так, как это получалось у многих признанных литературных метров.

Посмотрим, чем были заняты мысли, к примеру, Корнея Чуковского 13 ноября 1924 года, то есть в тот самый день, когда было начато «дело» Алексея Ганина. Маститый литератор заносит в свой дневник ужасно крамольные строки, пародирующие малокультурное отноше-

ние к классике: «Нас так ругают (Современники), что я посоветовал Замятину написать статью: «Что было бы, если бы пушк. «Я помню чудное мгновенье» было напечатано в «Современнике»».

Я помню чудное мгновенье (небось какой-нибудь царский парад) Передо мной явилась ты (не великая ли княжна Ксения Александровна?) Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты (чистая красота! — дворянская эстетика) Шли годы. Бурь порыв мятежный (Октябрьская рев.)

Рассеял... мечты (о реставрации монархии) и т. д. Ибо наши критики именно так и поступают».

Разделавшись таким образом с вульгарными советскими критиками (и поерничав при этом не без удовольствия), Чуковский фиксирует менее радостное впечатление дня:

«У меня неприязни к «Совр. Западом». Коллегия очень раскритиковала журнал, и я решил выйти в отставку».

К счастью, этот тяжелый удар не смог подкосить будущего биографа доктора Айболита, и 16 ноября в том же дневнике появляется весьма бодрая запись: «Хлопочу о поездке в Финляндию... Если Ленгиз купит мою книгу о Некрасове, я возьмусь переделывать ее. А сейчас правлю Колькин роман».

Как раз на следующий день Алексея Ганина допрашивают в застенках ЧК, и, доведенный до отчаяния, он пытается представить свои «тезисы» как заготовки к будущему роману, горестно оглядываясь на свою жизнь, в которой никаких финляндий не предвиделось: «Да, заданный, с одной стороны, нищетой, с другой стороны — под необоримым влиянием моих творческих сил, живущих во мне величайших образов я, отчаявшийся получить какую бы то ни было поддержку, здесь рискнул добыть необходимые мне средства, безразлично где и каким путем. Мне тридцать лет. В тридцать лет упорная работа за кусок хлеба. Тридцать лет непрерывного внутреннего горения. (...) Я не стремился к дешевой славе, не искал личного благополучия. Я всю жизнь горел и работал».

30 марта 1925 года вологодский крестьянин и поэт Алексей Ганин, он же глава «ордена русских фашистов», был расстрелян во дворе лубянской тюрьмы. Погибли и жившие в нем величайшие образы и творческие силы. Диктатуре было ясно, что «новая» Россия в них не нуждалась.

Зато спустя два дня после этого закономерного убийства создатель образов Бармалея и Мухи-Цокотухи, вошедших в золотой фонд советской литературы, вдохновенно записывает в свой дневник: «Читал Добролюбова: какие плохие писал он стихи. И умело пользовался их бездарностью: предлагал их читателю в виде пародии на другие плохие стихи». Вслед за этим феноменальным открытием он небрежно приписывает для историков литературы, заранее зная, с каким пиететом будет исследоваться его бессмертный текст: «Вчера закончил вчера «Федорино горе». Сегодня берусь (подумать только! — Е. О.) за отделку». После чего, видимо, удовлетворенно оглядевшись вокруг, Чуковский отдается во власть душевного комфорта: «Этот год — год новых вещей. Я новую ручку макаю в новую чернильницу. Передо мною тикают новые часы. В шкафу у меня новый костюм, а на вешалке новое пальто, а в углу комнаты новый диван...».

Автор «Мойдодыра» дожил до почтенной старости и международного признания и в связи с этим частенько почуял начинающих литераторов: «В России надо жить долго...»

ПА С Ы Н К А М России этот дружеский совет услышать не довелось, да и на пасынков, собственно, он не распространялся. На тридцать втором году жизни, в том же возрасте, что и Ганин, был расстрелян и самобытный крестьянский поэт Иван Приблудный, тоже п а с ы н о к, который писал о себе, будто шутило объясняя свой невеселый псевдоним:

Дело в том, что почему-то, все права на то имея, ни уют, ни приюта не сумел нажить в Москве я...

Архивные материалы, опубликованные в мартовской книжке «Нашего современника» («Дело» Ивана Приблудного), раскрывают цельную, негибкую натуру поэта, не сложенного ни следствием 1931 года и последующей трехлетней ссылкой, ни повторным «делом»

уголовные «дела» поэтов есенинского круга

1937 года, приведшим к расстрельному приговору.

При невыясненных обстоятельствах завербованный в секретные сотрудники ОГПУ, Иван Приблудный тем не менее упорно отказывался выполнять чуждые ему функции, что и послужило поводом для возбуждения первого «дела». Комментируя протокол допроса («...фактически не работал и не хотел работать, потому что требования, которые я должен был бы выполнять в качестве такового сотрудника, нарушали планы моей личной жизни и литературного творчества»), С. Волков пишет: «Конечно, подобное не могло сойти ему с рук. Мгновенно была изобретена версия о «члене ликвидированной антисоветской литературной группировки» — не хотелось, очевидно, работникам ОГПУ на первом этапе следствия оставлять в документах следы своего сокрушительного провала. А далее все пошло по накатанной линии».

Однако эта «накатанность» была резко нарушена стойкостью поэта. Поражает то спокойное, ясное мужество, с каким он сопротивлялся насилию и лжи:

«Я отказывался и уклонялся от работы в качестве негласного работника ОГПУ, потому что, по моему мнению, ОГПУ преувеличивает политическое значение отдельных поступков или высказываний тех или иных лиц, если эти поступки или высказывания политически неоправданы».

Я пришел из розовой деревни,
Из отчизны дальней и глухой,

— писал Иван Приблудный в 1925 году, и вряд ли кто мог предположить, что за поэтической чистотой и нежностью кроется несокрушимая твердыня духа... Именно эта глубинная нравственная мощь позволила поэту заявить на допросе о своей ответственности за всякий арест или приговор, который бы произошел по его наущению, — «между тем как таковую ответственность я не могу взять на себя ни за какие б л а г а (здесь и далее выделено мной. — Е. О.), и никакие соображения о государственно-политической целесообразности неофициальной работы ОГПУ не могут переубедить меня и заставить работать в ОГПУ».

Истоки этого нравственного максимализма — во всеобъемлющей любви к коренной, крестьянской России, оплоту всего лучшего в человеке:

Когда тебя спросят, откуда ты родом,
Не хвастайся тем, что ты города сын,
Не лги, что ты любишь гудки

по заводам,
Не верь, что ты веришь
в отраду машин.

Скажи лучше просто,
что ты из России,
Прекрасной России, —
каких не найти.

И всякий поверит,
что ты что-то значишь,
Что, с детства упрямым огнем
одержим, —
От бурь — не погнешься, от бед —
не заплачешь,
И что ни захочешь — все будет твоим!

Это стихотворение, проникнутое гордостью за отчизну, написано Иваном Приблудным в 1925 году. Последняя строка, впрочем, выглядит наивно: с о е г о у русского человека становилось на любимой родине все меньше. Уже был расстрелян Алексей Ганин и не так долго оставалось жить Сергею Есенину, уже сгущались тучи над русской литературой, которую хитроумно расщепляли на группы и РАППы и, разрозненную, недружную, загоняли в резервационные союзы, чтобы там окончательно вышибить национальный дух, оставив лишь для всяких заезжих фейтвангеров примитивные внешние приметы исчезающего

народа... Но самых сильных, из которых русский дух не вышибался, добивали по пути, дабы они не вносили потом смуту в души обитателей нарядных тюрем-дворцов, где творились необъятные тома великой литературы эпохи.

Иван Приблудный же издал всего две небольшие книги стихов, и начиная с 1931 года его литературная деятельность была грубо оборвана: суд, приговор, ссылка, мучительные попытки найти опору в сломанной жизни, затем новые чудовищные обвинения... Третья его книга пришла к читателю только через 55 лет, а теперь стало известно, что последний автограф он оставил на стене тюремной камеры: «Меня приговорили к вышке. Иван Приблудный».

ВЫСШЕЙ меры наказания чудом удалось избежать некоторым другим поэтам, чьи имена фигурируют в архивных документах, публикуемых «Нашим современником». Строго говоря, не все эти люди были напрямую связаны с Есениным или есенинским окружением, но поиски соответствующих «дел», как пишет Станислав Куняев, вывели его «к самому младшему наследнику есенинской традиции — Павлу Васильеву, и тут неожиданно на столе появилось дело № 577559, или так называемое «Дело Сибирской бригады» («Огонь под пеплом», «НС», № 7).

«В марте — апреле 1932 года, — продолжает Куняев, — в ближнем Подмосковье — в Кунцеве, Салтыковке, Тайнинке — были арестованы шестеро молодых русских писателей: Николай Анов, Евгений Забелин, Леонид Мартынов, Сергей Марков, Павел Васильев и Лев Черноморцев. Все ордера были подписаны шефом тайной полиции Генрихом Ягодой, что уже свидетельствует о значительности проведенной акции. Это, пожалуй, было одно из самых крупных коллективных писательских дел задолго до 1937 года и потому представляет особый интерес для историков и литературоведов».

Биография Есенина оказалась как бы центром исследовательской спирали, которая захватывала все более широкий круг людей, чьи судьбы переплелись некогда самым невероятным образом. Характерна в этом смысле публикация Ст. Куняева «Умоляю вас о помощи...» («НС», № 6) — о четырех писательских женах, породненных общей трагедией «большого террора». Это сестра Есенина Екатерина Александровна, арестованная в 1938 году как жена поэта Василия Наседкина; Анна Абрамовна Берзинь, участвовавшая в подготовке собрания сочинений Есенина и арестованная по делу своего мужа Бруно Ясенского; Елена Владимировна Бонч-Бруевич, дочь известного партийного деятеля и жена не менее известного руководителя РАППа Леопольда Авербаха, «ликвидированного» вместе с Ягодой; наконец, Нина Павловна Герасимова, арестованная вскоре после расстрела своего мужа, поэта Михаила Герасимова, которого Сергей Есенин выделял как наиболее талантливого из всей «пролетарской группы»...

Среди документов этой публикации надолго останавливает внимание письмо Н. Герасимовой на имя Бери, написанное в конце марта 1953 года, уже после освобождения. Невозможно без кома в горле читать эти строки:

«Каждая преданная из нас своей родине и своему правительству осознала свой долг за этой роковой чертой. Женщины, которые еще вчера блистали тонкостью рук и манер, сегодня, поднимая тяжелый саман, начинали в глухих степях строительство»; «Да, это только в нашей стране ты можешь себя чувствовать хозяином, даже здесь...»; «Вы, как талантливейший и образованнейший человек нашей эпохи, можете понять, какое горе и какая мука, когда тебе все время приходится душить свой творческий огонь...»; «Я склоняюсь перед вами на колени — помогите мне вернуться к моему творческому труду»; «Желаю, чтобы ваше назначение на пост Министра МВД еще больше укрепило и прославило наше гениальное отечество. И имя ваше было прославлено и врезано золотыми буквами в историю всего счастливого человечества».

Станислав Куняев предпочел воздержаться от комментария, который, он полагает, был бы под силу лишь Ф. М. Достоевскому или, в крайнем случае, А. И. Солженицыну, О. В. Волкову, В. Т. Шаламову. И остается только повторить вслед за публикатором: «А поэтому я умолкаю, задумавшись обовсем сразу — о величии, коварстве, героизме и слепоте эпохи, в которой жили такие люди».

Евгений ОВАНЕСЯН

